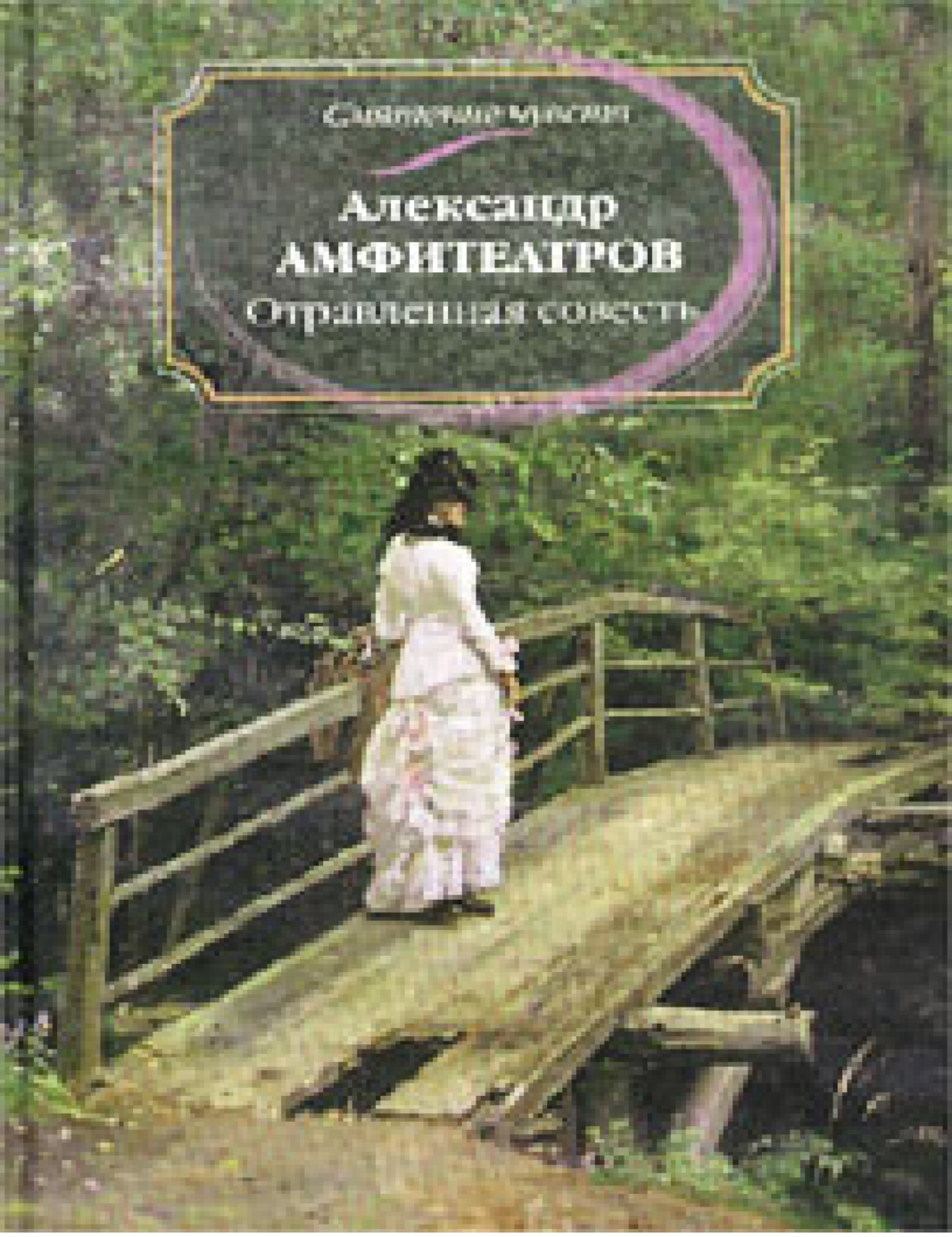
Александр
АМФИТЕАТРОВ
Отравленная совесть

SHOUT
SHARE
IT

- Александр Амфитеатров
  -
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14

Александр Амфитеатров

Курортный муж

Поццуоли изнывало в истоме полуденного зноя.

Я лежал в тени нависшего над морем утеса, положив под голову вместо подушки толстую кипу русских газет, только что полученных с почты.

От Неаполитанского залива веяло ароматом моря, отдыхавшего после вчерашней бури. Кто знает море, вспомнит этот запах, поймет меня и позавидует мне.

С берега веяло лимоном и розами.

От газет под головой — уголовщиной, крахами банков, юбилеями и бракоразводными делами.

Баюкала тень утеса, баюкало море, баюкали ароматы.

Глаза слипались, в голове бродила коварная мысль.

«А не развернуть ли мне „Новое Время“ или „Новости“ да, прикрывшись ими вместо простыни, не задать ли хорошего храповицкого?»

Между мной и миром легла туманная сетка. Я уже не видел ни Искии, ни Капри. Зато на горизонте очень ясно, хотя неожиданно, определились два Везувия, и я никак не мог разобрать, ни откуда взялся Везувий № 2, ни который из двух Везувиев настоящий?

Еще минута, и… Нирвана! «Покойся, милый прах, до радостного утра!»

Вдруг мне предстал незнакомец.

По первому же взгляду я признал соотечественника, и какого! Соотечественника с головы до пят, до конца ногтей, до корня волос. От драгоценнейшей, но измятой и запачканной фетровой шляпы, приобретенной, по меньшей мере, у Брюно, до незавязанного шнурка на желтом башмаке, до истрепанной шелковой тряпки вместо галстука на шее. От прорехи под мышками пиджака, сшитого, несомненно, у Тедеско, до три дня небритой физиономии и потных желтых косиц, уныло прилипших к вискам.

Он кротко уставил на меня молочно-голубые очи, полные телячьего смирения и глубокой покорности судьбе, фыркнул раза три добродушнейшим носом, стиля картошки и цвета спелого баклажана, и сказал, отдуваясь:

— Если не ошибаюсь, компатриот?

И на утвердительный ответ мой продолжал:

— Не обессудьте, что я к вам присяду. Жарко. Солнце это… горки. Одно слово, Италия, черт бы ее побрал. Вы, конечно, удивлены, что я ругаю Италию? De gustibus, сударь мой, non disputan-dum est.[1] Вы, может быть, художник или, Боже избави, поэт? Тогда вам и книги в руки по части «Авзонии прекрасной». Но я, батюшка, статский советник, кавалер и домовладелец, а кроме того, откровенный человек. И как таковой говорю еще раз с полной искренностью: черт бы ее побрал.

Страна порядочная, comme il faut,[2] не имеет права иметь так много синего моря, столько солнца, столько гор… в особенности гор. Коли нужна тебе живописная возвышенность для декорации, воздвигни парголовский Парнас, Воробьевы горы, что-нибудь этакое, чтобы мило, благородно и не утомительно. А то — эвона каких дылд наворотили! А вы изволите видеть: я мужчина сырой комплекции. И наконец, у меня катар желудка, одышка, приливы к голове. Шея короткая, а дело известное:

Те, у которых шея коротка,
И жить должны на свете покороче!

Кондрашка ходит за мной по пятам незримым спутником. Куда я, туда и они-с!

Вы, конечно, недоумеваете: откуда и зачем столь благополучный россиянин, как ваш покорнейший слуга, очутился здесь, под демонической скалой, с которой только бы орать какому-нибудь Тарханову или Яковлеву:

Проклятый мир!
Презренный мир!
Несчастный, ненавистный мне мир!

Я разделяю ваше недоумение. Я тоже не знаю, зачем я здесь. Зовите меня вандалом, я это имя заслужил, но какую-нибудь московскую Плющиху, какие-нибудь питерские Пески я предпочитал, предпочитаю и по гроб жизни своей предпочитать намерен вашей голубой средиземной волне, вашему Везувию, похожему на солдата, что спьяна никак не раскурит свою трубку, вашим прославленным лиловым островам в дымке синего тумана.

Зачем я здесь?

Затем, милостивый государь, что я — муж.

Слово «муж» имеет во множественном числе две формы: «мужи» и «мужья».

Первые суть мужи славы. Вторые — мужья своих жен.

Участь первых — Капитолий. Вторых — башмак!

Первым ставят памятники. Вторым — ставят рога.

Первых венчает история. Вторых — священники.

Первыми гордится человечество. Вторыми помыкают даже горничные их собственных жен.

К первым обращаются в звательном падеже:

— О, доблестные мужи!

Ко вторым:

— Э-эх, господа мужья!

О первых вещают миру Тациты, Несторы, Нибуры, Костомаровы. О вторых Казаковы, Арман-Сильвестры, Боккаччо, Поль де Кок и пр. и пр.

Я муж, милостивый государь! И конечно, если вы меня размножите, из меня выйдут не мужи, но мужья.

Sapienti sat![3]

Мужья бывают разных пород. Я, с позволения вашего сказать, муж курортный.

Муж вечно прополаскиваемого тела и промываемых костей. Муж существа, пропитанного углекислотой всех европейских минеральных источников и солями всех европейских морей. Моя супруга — самая чистоплотная женщина под луной. Она вымыта не только за самое себя, но и, полагаю, за нисходящих потомков наших, до седьмого колена включительно. И теперь купается здесь, в Баньоли, уже в честь линии восходящей — за дедушку, прадедушку и т. д. вплоть до корня нашего родословного дерева. Так сказать, за здравие мы уже откупались и теперь полощемся за упокой. Нашими купаньями можно, назло невежливой пословице, отмыть добела черного кобеля, человека черной сотни превратить в дворянина белой кости, негра — в альбиноса, темную личность — в светлого деятеля.

Супруга влачит меня из Петербурга в Старую Руссу, из Руссы в Ялту, из Ялты в Франц-сбад, из Франценсбада в Виареджио, из Виареджио на Платен-Зее, с Платен-Зее в Либаву, из Либавы в Меран, из Мерана в Биарриц, из Биаррица в Кисловодск, из Кисловодска в Остенде, из Остенде в Сорренто, из Сорренто — к черту на кулички, а что касается моей скромной особы, то, может быть, и на Волково кладбище. Что же? Путешествие не хуже других. Когда вы узнаете мою горемычную жизнь, вы согласитесь, что у меня нет резонов от него отказываться.

Прежде чем стать мужем женщины, я был человеком. Теперь друзья нашего дома стараются доказать мне, будто я переходная ступень от гориллы к минотавру. Иногда, ощупывая на лбу своем многочисленные зачатки рогов, я сам почти готов сомневаться: не

сродни ли я любезному сыну беспутной Пазифаи? Но нет! нет!! нет!!! Homo sum et nihil humani a me alienum esse puto![4]

Когда-то я «воспитывался» и в некотором роде не лишен даров образованности. Могу потолковать об Ювенале и в конце письма поставить vale.[5] Батька у меня был строгий и философ. Бывало сечет меня и приговаривает:

— Ангел Коля! Помни, что главенствующий принцип жизни есть долг.

— Что такое долг, папаша? — спрашивал я сквозь слезы.

Странная вещь, почтеннейший! Я с пятилетнего возраста имею совершенно ясное и определенное понятие о том, что такое долги, но о долге — и умирая, вероятно, не буду в состоянии сказать, что это, собственно, за штука.

Но папаша, как ритор великий, за словом в карман не лазил.

— Долг, душа моя, — объяснял он, — заключается в том, чтобы, по возможности, сокращать свой аппетит к эгоистическим приятностям жизни и альтруистически подставлять свою голову под все шишки, кои свалит на тебя, бедного Макара, древо житейского познания добра и зла. Приятности суть сюрпризы жизни, ее капризы, спектакли не в счет абонемента; неприятности необходимость, постоянное начало, самый абонемент. Поэтому первых не ищи и не ожидай, а вторые принимай как должное. Если в рот твой летит нежданно-негаданно жареный рябчик, не зазнавайся, потому что более чем вероятно, что завтра же чья-нибудь, тоже нежданная-негаданная, рука вырвет из зубов твоих жареного рябчика, не случайного, но заработанного тобой в поте лица своего и по праву тебе принадлежащего. Ибо старинный стишок гласит:

Кто надеется на радости,
Тот дождется всякой гадости!..

Шопенгауэр в своем роде был покойник, царство ему небесное!

По мотивам пессимистической логики папаша, когда я скрадывал из шкафа один пряник, отпускал мне десять розог. Резон: пряников в жизни мало, а розог много.

Так, с детства, закалялся я в принципе покорности судьбе и учился лобызать руки, наказующие мя. Так вырабатываются характеры!!! Я не буду рассказывать вам свои ученические годы. Полз в гимназии на троечках, в университете на четверочках. Ни шатко, ни валко, ни на сторону. У вас есть сын? Конечно, вы желаете ему блестящей карьеры, громкого имени, славы, треска, блеска, житейского фейерверка вовсю? Тогда зарубите себе на

носу: сохрани Бог, если мальчишка начнет приносить в бальнике тройки и четверки! Пусть лучше носит единицы и нули!

Из единичников — либо пан, либо пропал! — выходят или великие оболтусы, либо большие таланты, не умевшие примирить свою оригинальность со школьной дидактикой. Единичник, если он не идиот по природе, свое отдурит, перебесится и станет человеком, и старая быль — «молодцу не в укор».

Разумеется, лучше всего, если сын ваш будет пятерочником. Из пятерочников выходят впоследствии молодые люди, приятные во всех отношениях, — с мозгами трезвыми, спокойными, ясными, хотя обыкновенно немножко коротенькими, притупленными усердной зубрежкой. Они преуспевают на служебных поприщах и тешат родительские сердца благонравием: si jeune et si bien becore!!![6]

Но троечник, четверочник — на весь век не человек. Ни рыба ни мясо. Ни крупных успехов, ни серьезных огорчений… все — «золотой серединкой»! Хорошо еще, коли ты Молчалин: «Молчалины блаженствуют на свете!» А вдруг Обломов? Ведь это, сударь вы мой, тра-а-агедия!

И в трагедии этой я барахтаюсь пятьдесят годов! Как изволил остроумно выразиться господин Гейне, — раненый насмерть, представляю умирающего гладиатора. Я богат. Я человек со служебным весом, с общественным положением. От меня зависит многое для многих. Тем не менее никто никогда ни в чем не только не сообразовался с моей волей, но даже не интересовался: как, мол, по сему предмету думает Николай Иванович? Я же всегда только и делал, что сообразовался со всеми и с каждым, до пресловутой «собачки дворника» включительно. И это без всякой настоятельной, внешней надобности, — просто по мягкости и вежливости натуры, по робости, не взглянули бы на тебя косым оком, по потребности быть ласковым теленком, о котором пословица врет, будто он двух маток сосет. Неправда! По горькому опыту знаю, что наоборот, — лаского теленка обсасывает всякий, кому не лень.

Никто никогда не имел права мной командовать, — и все командовали. Я же всю жизнь свою кланялся и лебезил там, где имел право приказывать. Я четверть часа собираюсь с духом, прежде чем сказать лакею:

— Филипп, будьте так добры, почистите щеточкой мое пальтецо: оно три дня в грязи.

А Филипп величественно снисходит ко мне:

— Что ж? можно! Вот ужо чаю напьюсь, — вычищу.

Дома я под игом прислуги, в магазинах под игом авторитета commis, в трактире подавлен величием метрдотеля и т. д. Всегда,

как помню себя, я носил ношу и, надо полагать, до конца своих дней буду носить тесные сапоги, хотя у меня, милостивый государь, весьма страдальческие мозоли. Белье — не по мерке и синее, как это море, на берегу которого мы с вами имеет удовольствие сидеть. Шляпы либо покрывали меня, с ушами, до плеч, как царь-колокол, либо едва держались на макушке. Я платил за цепочку накладного золота как за настоящую. Банщик Илья в воронинских банях двадцать лет подряд упорно моет меня казанским мылом, хотя знает, что меня тошнит от его запаха, хотя я двести раз просил его: мой меня глицериновым! Я ел пережаренные бифштексы, а рыбу — обязательно недоваренную. Пил красное вино холодным, как лед, а шампанское теплым, как грудной чай. Половые, приказчики, кондуктора, все народы, созданные на потребу и на услужение рода человеческого, словно вступили на мой счет в безмолвную всеевропейскую стачку:

— Этого баловать нечего: ему что ни подсунь, все сойдет. Он у нас таковский!

Горничная по первому звонку моей жены летит, точно ужаленная тарантулом. А на мои вопли лишь раздраженно откликается из девичьей:

— Некогда мне, барин! Глажу барынины кружева. Не разорваться мне! Подождите! Авось над вами не каплет.

Жду… О! я много жду! я всегда жду!

Я проклят, как Каин. У меня на лбу клеймо, гласящее: вот фалалей! Вот человек, провиденциально предназначенный без рассуждений платить своим ближним деньги, сколько с него спросят, и безропотно принимать всякую дрянь, что ему дадут. И всякий норовит у меня стяжать и, стяжав, мне же нагрубить.

Язык у меня глупый и застенчивый. Он прилипает к гортани именно в те роковые минуты, когда, защищая благополучие своего владельца, ему следовало бы звучать твердо и настойчиво:

— Нет! Нет! Нет!

Моя супруга — родом из тех разбитных и пышных девиц, каких в летние месяцы зовут «царицами дачного сезона», а в зимние — «наша прелестная». В званиях этих она состояла уже десятый год. Очаровательности ее истекала земская давность. Пора была выйти замуж, выйти во что бы то ни стало, хоть за Мефистофеля, если не подвертывается Фауст. Надо было очень спешить: уже многие скептики начинали исподтишка величать «нашу прелестную» менее изящным, зато более подходящим прозвищем «холмогорской грации». Она сообразила:

— Еще год, и я останусь при одних гимназистах!

Horreur! Horreur! Horreur![7]

Когда барышня ужасается своим девичеством, в воздухе

пахнет брачной мобилизацией. Фалалеи! Пожалуйте к отбыванию свадебной повинности!

Не думайте о нас плохо: у нас, как и у порядочных людей, тоже было объяснение в любви. Что касается меня лично, то, правду сказать, — «народ безмолвствовал». Но она, моя Евгения Семеновна, говорила много. Она открыла мне следующие новости: что я ее люблю, что она не хочет делать меня несчастным и потому согласна отвечать моим чувствам и что, следовательно, нам остается только жениться.

Пока она, выбалтывая все это, висела на моей шее, я недоумевал:

— Откуда она взяла, что я ее люблю, когда я, наоборот, всегда ее терпеть не мог? Я идеалист, мечтатель, подобно всем фалалеям моей комплекции. Я не выношу женщин, похожих на монумент Екатерины Великой. Мне бы женщину-мечту: Офелию, Гретхен, Теклу или Лауру у клавесина какую-нибудь. А тут — прошу покорно! — «холмогорская грация»: фигура купеческой дочки, бюст кормилицы, румяное лицо с победоносно амурным выражением, точно у кафешантанной примадонны. Я люблю женщин скромных, наивных, а Евгения Семеновна — обер-кокетка, даже уже выходящая из моды, флёртистка из флёртисток, и целуется по темным углам со студентами-первокурсниками. Vade retro, Satanas![8]

Все это следовало сказать ей резко и решительно.

Но что же? Вместо того — хоть зарежьте меня, я до сих пор не понимаю, как это меня угораздило! Я внезапно простонал самым сентиментальным и ублаженным голосом:

— Что я слышу? Может ли быть? Боже мой! Благодарю тебя! за что, за что мне такое счастье?

Мамаша, папаша… образ… Дети мои, будьте счастливы!.. Исайя, ликуй!.. башмак, башмак, башмак!

Был один момент, когда я мог отвоевать себе супружескую автономию, мог стать «главою». Но, конечно, я его упустил. Не нам, фалалеям, улавливать моменты!

Это было в вагоне. Курьерский поезд уносил нас в свадебное путешествие.

— Друг мой, — рыдая, призналась мне Евгения, — я боюсь, что ты будешь на меня в некоторой претензии… у вас, у мужчин, столько глупых предрассудков. Видишь ли… присяжный поверенный Эсаулов… у него были такие красивые усы… Ну, и… ах, я несчастная!

Она ждала, что я ее, по меньшей мере, изобью. Но я сидел истуканом, глупо улыбался и бормотал:

— Гм… конечно, нехорошо… но что же делать, если усы?

Бывает! Даже хуже случается… и без усов! Пожалуйста, мой ангел, не нервничай, успокойся… Я не в претензии… Это ничего, совершенно ничего!

С этого момента она меня презирает. И поделом! Не извиняйся, когда следовало прибить. Но презрение презрением, а, что всего хуже, она запомнила, что для меня «это ничего, это совершенно ничего». И помнит пятнадцатый год, и неукоснительно применяет теорию к практике.

О, священная тень незабвенного Менелая! Прими меня в свои родственные объятия! Каких имен я не вынес, каких адюльтеров не терпел? «Фатиница, Фатиница, Фатиница! Чего не претерпела ты?!» Да-с, милостивый государь! Перед вами не мужчина, не человек, а именно какая-то Фатиница в штанах… Елизавета Воробей — баба, которую приписал Чичикову Собакевич в проданные мертвые души, под псевдонимом мужика — вот кто я!

«Все промелькнули перед нами, все побывали тут»! Тенора. Опереточные кривляки. Драматические верзилы: Анафемовы-Распротоканальевы, Громовы-Молниеносновы, Лидины-Тарарабумбиевы. Был жокей, этот хоть ел мало, — о весе беспокоился. Зато геркулес из цирка… я без ужаса вспомнить не могу, что за всепоглощающая пасть была у этого изверга рода человеческого. Серия велосипедистов. Серия атлетов-любителей. Серия конькобежцев. Контрабасист из оперного оркестра. Baigneur[9] Жан в Трувиле. Старший метрдотель в венском отеле. Проводники-черкесы на Бештау, татары на Ай-Петри, тореадоры в Севилье, прогорелые «дуки» во Флоренции… О! Евгения Семеновна хорошо знает географию, и у нее престранная манера ее изучать!

Подрастали дети. Молодое росло, старое старилось. Я — как видите. Евгения Семеновна тоже уже не «наша прелестная» и даже не холмогорская грация, а просто «дама, приятная во многих отношениях», так называемого бальзаковского возраста, когда день жизни прошел, вечер не наступил, а утешения сердце дамское требует, и бес стучится в ребро.

Поэтому сейчас мы в периоде гувернеров и репетиторов. Фемистокл Алкивиадович Альфонсопуло… нравится вам это имя?

О, что это за невежда и проходимец! Но у него нос более греческий, чем даже у Анабазиса Ксенофонта, и глаза маслинами, каких не едали ни Гомер, ни Скараманга. По мнению Евгении Семеновны, этого совершенно достаточно, чтобы успешно воспитывать ребенка в самом строгом классическом направлении. Наш первенец Фединька ежесубботно приносит в бальнике двойки, сидит в каждом классе по два года, под вечным сомнением: смилосердуется над ним благопопечительное

начальство, переведет «так и быть» в следующий класс или выгонит на все четыре стороны, с волчьим паспортом — за тихие успехи и громкое поведение. Напрасно я молю:

— Евгения! Перемени репетитора: он ничего не смыслит. Мы не имеем права губить ребенка.

— Ничего не смыслит? Фемистокл Алкивиадович? Да вы с ума сошли! Неблагодарный! Фемистокл Алкивиадович всего себя кладет на алтарь вашей семьи, а вы недовольны, вы критикуете, вы смеете протестовать?! Не Фемистокла Алкивиадовича вина, что у Феди свинцовые мозги! Ваш сын весь в папашу, радуйтесь! Отказать Фемистоклу Алкивиадовичу?! Придет же человеку в голову такая нелепость!.. Ах, да! понимаю, впрочем, понимаю! Вы, по обыкновению, ревнуете? Ха-ха-ха! Скажите, какой Отелло нашелся… Ха-ха-ха! Туда же! Он ревнует! Ха-ха-ха!

Я ревную ее?! Я!.. Да я рад хоть сейчас лететь от нее с капитаном Андрэ к Северному полюсу, а если нелегкая или попутный ветер занесет наш воздушный шар на Луну — тем лучше! Капитан, валяй на Луну! Чем я рискую? От Луны ничего мне не станется! Мы с нею братья по оружию! Она — тоже двурогая!..

Я ревную?! Я, готовый когда угодно уступить ее безданно и беспошлинно афганскому эмиру в гарем, дагомейскому королю в амазонки, — всякому, решительно всякому, кто согласится навязать себе на шею сей камень осельний и ввергнуться с ним вместе в пучину житейского моря?!

Но никто и никогда не возьмет ее у меня, и я никогда никуда от нее не убегу. А если убегу, она догонит меня даже в аду, чтобы водворить меня в черту моей оседлости: под башмак. Ибо без «мужа-мальчика, мужа-слуги» столь курортно-романтическая дама обойтись не может. Я в некотором роде Жан Вальжан супружества. Я прикован к Евгении Семеновне, как каторжник к тачке, с той разницей, что каторжник все же влачит свою тачку, куда он хочет, а я влачусь, куда моя тачка покатится.

Я уже доложил вам, что сейчас мы купаемся в Баньоли, к великой потехе всяких праздношатающихся итальяшек и французишек.

— Messieurs! au nom de pipe! regarder, regarder bien cette baleine la![10]

А «cette baleine»[11] тем временем уверена, что она, мало-мало не Венера, выходящая из морской пены. Послушать ее — волос дыбом станет. В нее влюблен весь Неаполь. Мессалина перед ней — девчонка и щенок. Клеопатра годится разве в горничные, Нинон де Ланкло — много-много в компаньонки. Этот из-за нее чуть не впал в чахотку, тот разошелся с семьей, этот хотел

броситься под поезд… Словом, как поется в цыганской песне:

Один утопился,
Другой удавился,
А третьего черти взяли,
Чтоб не волочился.

И все то врет, все то обманывает самое себя… и только себя, потому что обмануть людей — уже трудно: не по силам, не в состоянии. Какая потребность у женщин быть грешницами! Когда им изменяет возможность действительного греха, они хоть наклепают на себя, хоть нагрешат платонически, воображением!

Разумеется, у Евгении сотня платьев и две дюжины купальных костюмов. На платья я не в претензии: Бог с ними! Платья — фатальная кара супружества. Мужчина осужден мучиться жениными платьями, как женщина — родами. Это — долг платежом красен. Одно за другое, suum cuigue.[12] Но костюмы… эти ужасные костюмы, по фасону, изобретенному мадам Евой, когда, после грехопадения, она сконфузилась своей наготы и «оделась» при помощи виноградного листа!.. Стоит мне взглянуть на купальный костюм моей супруги, чтобы ощутить припадок водобоязни, прийти в унылое, молчаливое бешенство. Если я укушу кого-нибудь в такую минуту — везите на бактериологическую станцию для пастеровской прививки. Евгения как ни в чем не бывало примеривает свои Евины пояса перед зеркалом, вертится, точно собирается на бал, а не в соленую воду, и я же обязан восторгаться: ах, как идет! А чему идти и к чему идти? Впрочем, я знал барышню, которая находила, что ей очень к лицу ее ботинки.

— Недурно… очень недурно… — любуется Евгения. — Правда, недурно, Николай?

О, как хотелось бы мне ответить:

— Нет, очень скверно.

Тебе за сорок лет. Ты мать троих детей уже на возрасте. Ты жена порядочного человека. Нам стыдно за тебя. Тебе неприлично выставлять свое тело, облепленное лоскутом мокрой материи, на показ насмешливой публике скучающего курорта, которой только бы найти, над чем скалить зубы. Ты воображаешь, что можешь кому-нибудь нравиться? Lasciate ogni speranze![13]

Ты стара, толста, расплылась. Тебе пора прятаться, а не выставляться. Твой костюм — глухой мешок, а не декольте!

Ты общее посмешище. Смеются над твоим телом, над щегольством, приличным разве девочке восемнадцати лет, над запоздалым куртизанством, над Фемистоклом Алкивиадовичем,

которого таскаешь ты за собой по Европе, как наглядную вывеску своих амурных упражнений надо мною, твоим мужем, слишком бессильным и слабовольным, чтобы прекратить твои благоглупости и безобразия.

Хотелось бы…

Но на хотенье есть терпенье! Amica veritas, sed magis amicus Plato,[14] а Plato этот я сам. Я ненавижу сцены, крик, истерики, обмороки. Так лучше помолчать. Своя рубашка к телу ближе. И — разве что на смертном одре меня прорвет, что называется, — и я выскажусь. Да и то — лучше смолчать! Не стоит. Она неуязвима! Она не знает низких истин, вся жизнь ее — ее возвышающий обман. Как я ни обругаю ее, она мне всё равно не поверит. Есть рожон, против него же не попреши: это самообольщение тщеславной женщины. Евгения Семеновна твердо убеждена, что я влюблен в нее без памяти и нахожу ее, с полной искренностью, такой же обольстительной, как представляется она самой себе.

Я выскажусь и умру, а она будет в трауре хвастаться приятельницам:

— Вы даже вообразить не в состоянии, медам, как был влюблен в меня покойный Николай Иванович. Прожили мы с ним пятнадцать лет; кажется, порядочный срок, можно бы и поостыть… Но для него все как будто продолжался медовый месяц. Просто африканская страсть какая-то. Верите ли? За четверть часа до смерти он сделал мне сцену ревности… такую сцену! такую сцену! просто страшно вспомнить, как он меня ругал!

Она клевещет, а я в гробу — и никакой апелляции!

И мало, что я, по ее милости, прожил дураком свой век, она сделает меня дураком в вечности, дураком в памяти потомства! Она введет в заблуждение историю и вклеит меня в оперетку!

О, Менелай и Пентефрий! Я чувствую, что на том свете мне уже уготовано место в вашей небольшой, но честной компании. Мы заключим дружественный союз угнетенных рогоносцев и при свете пекельного огня будем играть в винт, по маленькой, разумеется, и с болваном!..

Последние слова незнакомец произнес столь громко и патетически, что я даже усомнился — он ли их выкрикнул или прорычала средиземная волна, дробясь о берег. Тем более что, протирая глаза, я не нашел никакого незнакомца… Утопился ли он, расточился ли в воздухе, — предоставляю выбирать догадливости читателя, кому что больше нравится. Вернее всего, в действительности вовсе не было никакого незнакомца, а была лишь сонная, полуденная греза, навеянная мне неосторожно положенной под голову подушкой из газет с бракоразводными

процессами.

notes

Примечания

1

О вкусах не спорят (лат.).

2

Настоящая, порядочная (фр.).

З

Для мудрого достаточно сказанного (лат.).

4

Я человек, и ничто человеческое мне не чуждо (лат.).

5

Будь здоров! (лат.).

Такой юный и такой заслуженный!!! (фр.).

7

Ужас! Ужас! Ужас! (фр.).

8

Отойди, сатана! (лат.) — в значении: не искушай, не соблазняй!

9

Купальщик (фр.).

10

Господа! черт побери! смотрите, смотрите же хорошо! (фр.).

11

В значении: эта моржиха (фр.).

12

Каждому свое (фр.).

13

Оставь надежду (ит.).

14

Платон мне друг, но истина дороже (лат.).